



## В НОВОМ ВЫПУСКЕ О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ РАССКАЗЫВАЮТ ВЕДУЩИЕ ПРОФЕССОРА ВЫШКИ – ЛЕВ ЛЮБИМОВ и ИРИНА САВЕЛЬЕВА.

**Лев Любимов, д. э. н.,  
заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ,  
ординарный профессор,  
заведующий кафедрой макроэкономического  
анализа факультета экономики,  
заведующий лабораторией  
макроэкономического анализа**

После окончания школы в Рязани я поступил там же в пединститут на гуманитарный факультет. Моим первым учителем оказался Павел Александрович Орлов — литератор, специалист по XIX веку русской литературы, который через десять лет стал ведущим профессором МГУ на соответствующем факультете. Я у него многому научился, причём не только слушая его лекции, но из личных бесед, которые мы вели, прогуливаясь по местной набережной. Вторым учителем стала Раиса Александровна Фридман. Она была профессором Сорбонны, человеком, который высоко ценился в профессорских и писательских кругах Франции, потому что она занималась исследованием прованского языка и литературы. Эта литература некогда называлась литературой трубадуров, однако, к сожалению, потом исчезла (как в своё время и латынь). Раиса Александровна её возродила: она написала довольно объёмный словарь этого языка, а также не менее объёмную хрестоматию. Лично я ей также многим обязан. Она обучала меня латыни у себя дома, учила навигации по античной культуре, которая до сих пор, с моей точки зрения, необъяснимо велика и непревзойдённа.

Раиса Александровна также приходилась родной сестрой Александру Александровичу Фридману, выдающемуся российскому математику и геофизику. Кроме этого, на другом факультете работал её родной брат — Абрам Александрович Фридман (родной дедушка нашей А. А. Фридман — профессора ВШЭ), к которому я бегал слушать курс по линейной алгебре; экзамен по этому предмету я не сдавал, но слушал с удовольствием. Одновременно я посещал лекции профессора Иринарха Петровича Макарова по матанализу. От него я тоже многое перенял. Он был воплощением независимого, свободного человека, не встраивающегося в рамки советской системы. Мы с ним много беседовали во время наших прогулок. Благодаря ему в конце первого курса я стал председателем научного студенческого общества института, в котором учился.

Благодаря Раисе Александровне у меня возникла постоянная потребность к самообучению. Если до этого (ещё в школе) я считал нормой читать по двести страниц в день, то после знакомства с ней это укоренилось, но уже вышло за пределы только литературы. Естественно, я прочёл всю классику, западную и нашу. Дальше, в общем-то, и читать было вроде нечего.

Заведующая библиотекой, которая хорошо ко мне относилась, нашла для меня (это был с её стороны Поступок) перевязанный шпагатом и оббитый штампами НКВД «Уничтожить» десяти томник Ницше 1907 года издания. Чтение Ницше произвело на меня тогда неизгладимое впечатление. Он является основателем современной философии. Вслед за Ницше я обратился к другим авторам (например, к Гегелю, Расселу). Далее я читал книги по разным дисциплинам. Так, там же, в библиотеке, я нашёл пятитомник Т. Моммзена «История Древнего Рима» — они с Черчиллем были единственными историками, получившими Нобелевскую премию по литературе. После Моммзена я обратился к «Истории Англии» Дэвида Юма, а после Юма — независимо от учебного курса — к «Капиталу» Маркса. Прочитав эту работу, я извлёк для себя «социологического Маркса», и эти идеи также оказали на меня определённое влияние.

В итоге я решил остановиться на сфере исследований в области экономики. К этому времени мне случилось переехать в Москву. Мне удалось поступить ассистентом в Институт тонкой химической технологии, где кафедрой заведовал Николай Прокофьевич Федоренко. В тот год, когда я поступил, он стал академиком АН СССР. Но я тогда ещё не знал, что он замыслил и готовил создание Центрального экономико-математического института. Поэтому решил, что попытаюсь пройти в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. Я тогда занимался по шестнадцать часов в день, читал классику — Смита, Милля, Риккардо, Маршалла (чьи работы были тогда изданы) и Кейнса («Общую теорию занятости»). За два года я очень много начал — более ста книжек. На следующий год я первым среди всех конкурсантов поступил в аспирантуру ИМЭМО. Мне дали право выбора отдела, но я уже заранее решил, что пойду в отдел теории, который возглавлял академик Абрам Герасимович Милейковский. У него я учился академической воспитанности, презентации своих разработок. В этом отделе я встретил своих подлинных научных учителей. Первым из них был Револьд Михайлович Энтов (уникальное явление в сообществе эрудитов и знатоков), с которым мы с тех пор дружны, и, видимо, являемся самыми старыми друг для друга друзьями. Это был уникальный отдел, включавший несколько удивительно талантливых учёных. Один из них был моим руководителем, это Сергей Михайлович Никитин, к сожалению, ныне покойный, автор идеи приоритета второго подразделения как главного фактора экономического роста в СССР (идея была явно «неполиткорректная», почти антиленинская). Но ИМЭМО выступил с ней, и она вошла в различные партийные постановления, хотя никогда не реализовывалась. Среди них был и Андрей Владимирович Аникин — тоже уникальная личность, с тремя свободными европейскими языками, глубокий учёный и одарённый писатель.

Сегодня, когда книжный рынок заполнен полноводьем разных экономических словарей, единственным по-настоящему профессионально грамотным англо-русским экономическим словарём является словарь А. В. Аникина, написанный им более сорока лет назад и переиздающийся постоянно! Когда я стал первым проректором в Вышке, то привлёк его сюда на работу: он регулярно, вплоть до своего ухода из жизни возглавлял в Вышке выпускную квалификационную комиссию в бакалавриате и магистратуре. Я у них у всех научился тому, что настоящий учёный не должен никогда отдыхать, то есть для него не существует такого понятия, как отпуск. Научная, творческая работа — это жизненная константа, постоянный образ жизни.

Многое нужно сказать об академике Николае Николаевиче Иноземцеве, директоре Института мировой экономики и международных отношений, с которым я работал шестнадцать лет. Когда я только защитил кандидатскую диссертацию, он довольно быстро заметил меня и попросил, чтобы я, тогда ещё младший сотрудник, возглавил отдел информации. На этой работе я быстро показал себя успешным организатором. В некотором роде Иноземцева можно назвать главным учителем в жизни за то, что он тогда доверил мне большую часть оперативной работы. В то время мне удалось провести реформу в этом отделе, создать продукты, которые в дальнейшем стали достоянием института, в частности библиотеку досье, которую институт смог продать и тем самым помочь себе выжить.

В какой-то момент этой оргжизни я смог наконец вернуться к собственным научным исследованиям. Началось всё с того, что летом 1973 года я вдруг начал замечать что-то странное в мировой энергетике. Я вечерами просматривал международную статистику по балансам энергопотребления и энергопроизводства, по торговле энергоресурсами в Европе, США и СССР. Чем глубже я в это вникал, тем больше у меня к самому себе возникало вопросов. Вернувшись из отпуска, я начал записывать свои мысли по этому поводу. У меня появилось своё видение тенденций в этих делах. В итоге у меня получилось «эссе» на 230 страницах, которые я затем показал Иноземцеву со словами: «Николай Николаевич, мне кажется, что может произойти что-то необычное в мировой энергетике, но я дошёл до такого места, что не могу сам себе сказать, что с этим дальше делать. Может, посмотрите?» Через две недели он мне говорит: «Слушай, я тоже не могу ответить на вопросы, которые у тебя возникли. Это в высшей степени интересно, поэтому давай думать вместе». Не прошло и двух недель, как в мире рванула «бомба» — страны ОПЕК в декабре 1973 года вчетверо подняли цены на нефть. Начался энергетический кризис. Дальше в течение двух месяцев я по поручению Н. Н. Иноземцева едва ли не каждому члену Политбюро писал записки по этому поводу. Таким образом, тогда в глазах своих коллег по институту я впервые предстал творческим работником (раньше во мне видели только организатора), исследователем, способным поставить крупную проблему. Однажды я был даже приглашён в Госплан СССР, где с успехом прочёл лекцию для коллегии Госплана по мировым энергетическим проблемам.

Ещё один человек, у которого я многому научился, — редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Яков Семенович Хавинсон. Он был при Сталине руководителем ТАСС, «Совинформбюро» (1941–1943 годы), единственным политическим обозревателем газеты «Правда», а потом стал редактором нашего журнала МЭ и МО. Это в высшей степени порядочный человек с трудной судьбой, который дал мне поучительные уроки экспертного труда и профессиональной стилистики.

Помимо тех людей, которые меня учили как преподаватели или учёные, я также многому научился на практике. В 1975 году меня назначили зав. отделом Международных проблем Мирового океана, который в ИМЭМО был создан решением Политбюро ЦК КПСС. Отдел стал мозговым центром Межведомственной комиссии по Мировому океану, которую возглавил А. А. Громыко. Семь лет мне пришлось участвовать в разработке знаменитой Конвенции ООН по морскому праву, в которой есть и мой скромный вклад. Это была большая школа жизни, опыт прикладной аналитической, переговорной дипломатической и аппаратной работы.

В 1990 году я познакомился с Володей Кинелёвым, когда тот был заместителем министра образования РСФСР. Он вовлёк меня в реформирование гуманитарного образования в России. В феврале 1992 года нам удалось пролоббировать создание Государственного совета по гуманитарному образованию при Правительстве РФ.

Однако и в более поздние годы я всегда продолжал учиться. Восемь-десять научных книг в месяц были нормой. Например, знакомство с коллегами из Института философии в 90-е годы открыло мне путь к русским мыслителям, к книжкам, запрещённым советской властью. Моими последними учителями в организационных проблемах образования были коллеги из школ международного бакалавриата, из Лондонской школы экономики. Знакомство с их образовательной парадигмой позволило впоследствии в 1998 году начать введение в ВШЭ системы модулей, рейтингов и кредитов (принципов Болонской системы, хотя сама Болонская конференция состоялась лишь в 1999 году).

Каков был главный урок моих учителей? В первую очередь это университетская научная этика — честность, бескомпромиссность науки, жизнь в её мировом мейнстриме. Именно университетский этос стал первым и главным достижением ВШЭ с момента её создания. Собственно, первое составляющее бренда Вышки с самого начала — это университетский этос во всех деятельности нашего Университета. Вторая вещь, которой я научился в институте, в АН СССР, — это константа трудоголизма. Если ты принадлежишь к гильдии профессуры, то каждый твой день — рабочий, ты должен постоянно находиться в состоянии творческой работы: читать, писать, обсуждать, переписывать.

### **Ирина Савельева, д. и. н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева, профессор кафедры истории идей и методологии исторической науки факультета истории**

Я поступила на исторический факультет МГУ сразу после школы. Выбор специальности не был предreshённым, скорее, он осуществлялся по принципу «орёл или решка». Дело в том, что мне одинаково легко давались как гуманитарные, так и естественные науки, поэтому в итоге я выбирала между биологией и историей. И это были не единственные предметы, которые мне нравились. Может быть, потому, что мои родители были историками, выбор в итоге пал на историю. Я поступила на исторический факультет в Московский университет.

Во всяком университете преподаватели делятся на плохих, хороших и звёздных. Плохие — это преподаватели, сделавшие большую ошибку, избрав нашу профессию.

Хорошие преподаватели — это основа университетской корпорации. Они делают очень важную работу, и студенты их за это ценят. Наконец, есть звёзды, которых на каждом факультете больше, меньше или нет вовсе. На истфаке всё было точно так же, разве что с поправками на роль идеологии, пролетарского происхождения или партийной карьеры, которые сказывались на облике преподавательского корпуса. Я застала ещё и профессоров «из бывших» — так называли тех, кто повзрослел до революции. Не могу сказать, что они были самыми приятными людьми или самыми умными, разные они были, но отличала их культура речи и манеры, в частности манера двигаться. Они умели всходить на кафедру. Я говорю об этом потому, что преподаватель в университете не только передатчик знаний или наставник в научных студиях, но и транслятор культуры.

Если говорить о модусе существования разных групп на истфаке того времени, то в основном остатки «старого корпуса» были в наибольшей степени представителями позитивизма в духе немецкой исторической школы. А в целом, если говорить о влиянии идеологии на состояние преподавания исторической науки в Московском университете 1960–1970-х годов, то мой опыт здесь не укладывается в сложившуюся в постсоветские годы традицию. Когда я училась (после «оттепели»), доминировала идеология марксизма. Почти все историки в СССР тогда работали в этой парадигме, то есть все анализировали прошлое с позиции марксистской концепции развития общества, исторического материализма. Но, во-первых, я всегда говорю, что марксистская теория не самая плохая среди тех, которыми пользовались историки на протяжении XX века (в этом важное отличие роли марксизма в историографии XX века от его значения, скажем, для экономической теории). Плох не марксизм сам по себе, а его монопольное положение в советской общественной науке, невозможность выбора другой интерпретативной модели. Ведь и в западной историографии позиции историков-марксистов были очень сильными. Например, приверженность марксизму считается системообразующим принципом великой французской школы Анналов, лидирующей многие десятилетия. Конечно, разница между нашими марксистами и западными историками-марксистами была серьёзной. Я, например, всегда неомарксизм понимала гораздо хуже, чем структурализм. Так вот, на истфаке МГУ нас, конечно, учили работать в марксистской парадигме, но горизонты исторической науки оставались открытыми. В этом смысле «неспособности, приобретённой благодаря обучению» (выражение Торстейна Веблена) многие из нас счастливо избежали.

Благодаря родителям я хорошо знала многих московских историков и, в частности, Петра Андреевича Зайончковского, одного из самых интересных, ярких и «не вполне советских» советских историков. Знакомство с ним и походы к нему в гости позволили мне прочесть много книг — дореволюционных российских и современных западных, последние у него были в изобилии благодаря американским аспирантам. Я очень ценила общение с ним, однако, когда к третьему курсу надо было выбирать специализацию, я всё же выбрала американистику. Причём в этот момент я не решила, у кого именно буду учиться.

Американистику я предпочла по разным причинам. Может быть, отчасти потому, что в то время она была более престижной специальностью. Она давала выход в мир современной исторической науки, политических и социологических знаний. Меня интересовала именно эта сторона исследования. Я уже много раз говорила в разных интервью, что я не настоящий историк. У меня нет привязанности к архивам, фактам, документам, которая в принципе должна отличать историка (П. А. Зайончковский был именно таким).

Американистика в отечественной исторической науке очень долго была заброшенным ребёнком. Всеобщая история Нового времени в целом в России была очень сильным направлением, вышедшим в начале XX века на европейский уровень, но именно американистикой в дореволюционной России вообще не занимались. Впервые курс по американской истории, если я не ошибаюсь, начали читать в конце XIX, а может быть, даже в начале XX века. Поскольку традиции не было, до середины 1950-х годов говорить о существовании американистики в нашей стране не приходилось. Однако каким-то до сих пор не до конца понятным для меня образом в середине 1950-х годов на кафедре новой и новейшей истории МГУ три человека одновременно стали заниматься историей США (начала в студенческие годы, а затем в аспирантуре) — Евгений Федорович Языков, Игорь Петрович Дементьев и Николай Васильевич Сивачёв. Все они были яркими, интересными учёными, благодаря им кафедра стала одним из двух ведущих центров американских исследований. Из этой тройки в итоге я выбрала руководителя, который мне по характеру, психологии и культурному бэкграунду подходил меньше всех. Знаете, очень часто студенты ориентируются на мнение других студентов. Старшекурсники мне рекомендовали Николая Васильевича Сивачёва как совершенно потрясающего руководителя. Ему было в то время тридцать четыре года. Он ещё не был доктором, а следовательно, и профессором (хотя он очень быстро защитился). На факультете он был известен прежде всего как очень строгий замдекана по учебной работе. Я лично его не знала, он мне не был определённо симпатичен, и, кроме того, у него была ещё ужасная тема. Хуже темы для девочки с гуманитарными способностями не придумаешь. Он занимался трудовым правом США. Это означало чтение и изучение законов, материалов арбитражных судов, протоколов заседаний Ассоциации трудовых отношений и всевозможную скуку. Должна сказать, что некоторые преподаватели пытались меня отговорить. Тем не менее я всё же решила пойти на собеседование. Поскольку у него была репутация хорошего руководителя, к нему тогда пошла не я одна, а пять человек, причём все пятеро были сильными студентами. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну, вот насчёт девочки я как-то сомневаюсь». Поскольку я всегда была азартной и легко принимала вызовы, после этой фразы у меня уже не было никаких сомнений в том, что я пойду к нему, и в том, что через какое-то время я буду его любимой студенткой. Так и получилось.

Николай Васильевич родился и вырос в глухой деревне, не то алтайской, не то уральской. Он вообще очень популярен Шукшина, даже внешне: самородок, в послевоенной деревне чудом выживший. В этой деревне была библиотека, в которой он все книги перечитал. Затем, бог знает какой уверенностью движимый и на какие деньги, приехал в Москву поступать в МГУ на исторический факультет, куда в основном поступала элитная московская публика. И поступил!

Даже когда мы с ним познакомились, он не очень был силён в риторике и письме. Совершенно не потому, что я была самонадеянна, я в том юном возрасте точно знала, что и то, и другое я делала лучше. Речь и письмо — это те качества, которые в интеллигентной семье приобретаются сами собой. А если этого нет, то, конечно, человеку приходится потом, уже во взрослой жизни, очень много над этим работать. Я здесь имею в виду только внешнюю сторону речи и письма (форму выражения), а не способность системно мыслить, формулировать и выстраивать эвристически сильные концепции.

Всеми этими качествами он был наделён сполна, и я этому училась прежде всего у него.

Николай Васильевич был блестящим учёным и организатором науки. В 1956 году, когда ему было меньше тридцати лет, у него появилась возможность поехать на стажировку в Америку. Только представьте себе, какой культурный шок он тогда испытал, поехав в Америку лишь через десять лет после того, как покинул свою деревню. Оказалось, что за десять лет в МГУ он действительно сильно преобразился, и американские коллеги потом отмечали, что он совершенно спокойно вошёл в их среду. Мало того, попав в библиотеку Рузвельта в его поместье, он так очаровал вдову президента Элеонору Рузвельт, что она ему очень помогла и с документами, и с условиями работы. Вернулся Сивачёв из поездки человеком с хорошими и стойкими американскими связями, что было тогда редкостью в нашем научном сообществе. Он рано защитил докторскую диссертацию, рано опубликовал свои первые книги. Он был учёным американского уровня, то есть писал и работал так, как это делали в Америке. У него была своя концепция (не марксистская!), чего не было в нашем цехе в то время почти ни у кого. Он объяснял рабочую политику государства, особенности формирования трудового права, идеологию трудового права в рамках концепции национального интереса, баланса и дисбаланса политических групп, либерализма и консерватизма в идеологической сфере.

Он был не только выдающимся учёным, но и увлечённым и самоотверженным педагогом. У него был домашний семинар. Мы приходили к нему чуть ли не каждую неделю и сидели в его маленькой квартирке часами. Разговаривали почти только на научные темы — о своих работах, книгах, которые мы вместе читали, планах. Доверительных разговоров не помню. Кроме этого, у нас был еженедельный спецсеминар, где мы впятером обсуждали тексты. Задавал он безжалостно много, но не подготовиться к его семинару никому не могло прийти в голову. Не прочитать какой-нибудь стостраничный закон, в котором сто пунктов с десятью параграфами в каждом, и ещё не понять хотя бы приблизительно то, что ты прочитал (на английском языке), было просто невозможно.

Он часто ездил в Америку и привозил чемоданы, набитые книгами. Необходимой литературы в то время в библиотеках было мало, и из своего шкафа с книгами он спокойно мог за один раз выдать мне двадцать книг в общежитие (а мы там довольно безалаберно жили). И это были или самые лучшие исторические книги, которые выходили с 50-х годов, или нужные непосредственно для работы. У меня, например, дома два года, что я писала диплом, стояли все двадцать пять томов протоколов заседаний Американской ассоциации индустриальных отношений.

Наши с ним занятия в основном заключались в продумывании темы, концепции, структуры, выборе материалов, на которых будет основано исследование, обсуждениях. Но с самим текстом (в плане редактуры) работы практически не было. Николаю Васильевичу нравилось, как я пишу. Мне, пожалуй, в этом отношении очень многое дал мой отец — он был самым строгим моим критиком.

Как только я защитила диплом, в тот же день вечером Николай Васильевич предложил мне писать с ним статью — большую и важную для нас обоих. Моя первая публикация в хорошем американском историческом журнале, чуть позднее, тоже была написана в соавторстве с ним.

Научный метод Сивачёва заключался прежде всего в том, что он умел создать концепцию и свободно чувствовать себя в её рамках. Нарастивать обороты, передвигаться от одной проблемы к другой. Его исследования были не развитием каких-то идей марксизма по поводу классово-борьбы или государства как рупора господствующего класса; он в своих работах выстраивал траекторию американской рабочей политики, развития трудового права в контексте изменений в соотношении сил между предпринимателями и профсоюзами, где государственная власть выступала в качестве арбитра. Потом он создал лабораторию американистики на факультете (тоже редкость в советских вузах того периода) и переключился на изучение истории политической системы США. Но самое поразительное, что в застойные советские годы Сивачёву удалось каждый год приглашать на кафедру ведущих американских профессоров для чтения семестровых авторских курсов. С экзаменами на английском языке и безо всякого вмешательства парткома в содержание лекций! Сейчас молодым людям трудно представить, насколько невероятно было утвердить эту практику и сохранять её на протяжении десятилетий. В то же время он побывал и в роли секретаря парткома МГУ и хорошо владел, как он говорил, «искусством социалистического реализма».

Как многих настоящих учёных, его отличала высокая требовательность к себе. Мы точно знали, что этот человек работает столько часов в сутки, сколько он может не спать. Соответственно, и нам он не делал никаких скидок — нельзя было сказать: «Я была занята другим, устала, не успела, болела и т. д.».

У Николая Васильевича было очень специфическое обаяние. Американцы, которые потом о нем рассказывали, всегда подчёркивали именно это качество, которое открывало ему все двери. Он был самым *self made man* из всех *self made men*, которых я знала. Он всё время развивался, и это отражалось даже на его внешности (от облика Василия Шукшина — к облику Вадима Радаева).

В итоге я могу сказать, что главное, чему меня научили мои учителя, — это тому, что занятия наукой могут быть профессией, призванием и, тем самым, образом жизни (и даже двадцатилетнее пребывание в Академии наук с её культом праздности эти устои не пошатнуло), что наука требует постоянных интеллектуальных усилий и эрудиции, которой никогда не бывает достаточно (в том числе и в области сопредельных дисциплин). Приобщение студентов к науке — это большой и взаимный труд. Слово «труд» — ключевое, но он оправдан только атмосферой поиска, открытия, которая рождается именно в общении студента и учёного.